А.В. Гладкий

Quem Venus arbitrum dicet bibendi?

Заглавие настоящей заметки – это фраза из последней строфы оды Горация «К Помпею Вару» (седьмой оды второй книги од), вольным переводом которой является написанное в 1835 году стихотворение Пушкина (не имеющее заглавия). Над ней я впервые задумался лет тридцать назад, и когда получил приглашение написать что-нибудь к юбилею А.А. Зализняка, мне пришло в голову, что это будет удобный случай привести в порядок связанные с ней мысли. Главная тема заметки – загадка, содержащаяся в этой фразе, и попытка предложить разгадку. Другую тему можно условно назвать «Пушкин и Гораций». Я не уверен ни в том, что эти две темы не только мне могут показаться связанными, ни в том, что заметка может претендовать на статус научной работы. Но хотел бы надеяться, что юбиляру и, возможно, кому-нибудь ещё она не покажется скучной. Дальше – пушкинский перевод оды Горация:

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?
С кем я тревоги боевые
В шатре за чашей забывал
И кудри, плющем увитые,
Сирийским мирром умащал?

Ты помнишь час ужасный битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся, как бежал!
Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал
И спас от смерти неминучей.

А ты, любимец первый мой,
Ты снова в битвах очутился…
И ныне в Рим ты возвратился
В мой домик тёмный и простой.

Садись под сень моих пенатов,
Давайте чаши. Не жалей
Ни вин моих, ни ароматов.
Венки готовы. Мальчик! Лей.
Теперь некстати воздержанье:
Как дикий скиф хочу я пить.
Я с другом праздную свиданье,
Я рад рассудок утопить.

Исследователи не раз отмечали, что перевод этот «слишком вольный»: при сравнении его с подлинником бросается в глаза, что переводчиком внесено много изменений, в том числе таких, которые существенно искажают смысл, и трудно сомневаться, что сделано это намеренно. Четверть века назад я прочёл в статье выдающегося филолога и историка Александра Иосифовича Зайцева (1926-2000), названия и выходных данных которой, к сожалению, не запомнил, так что цитирую по памяти: «Нет отчаянного Брута у Горация!» (Можно добавить, что нет и «призрака свободы».) Дальше в статье говорится (точных слов не помню), что и вообще Гораций говорит о Бруте уважительно, а потом: «И это в той же оде, в которой Август сравнивается с Меркурием!»

Почему Пушкин обратил внимание на оду «К Помпею Вару», понять нетрудно. Многие произведения Горация автобиографичны и имеют особенность, отмеченную исследователями его творчества: он ничего не скрывает от читателя, откровенно рассказывает обо всех своих радостях и горестях. А в его жизни не было большей горести, чем разгром при Филиппах армии, в которой он, тогда ещё молодой (23 года) и к тому же сын вольноотпущенника, был военным трибуном (в переводе на современный язык – генералом), и, пожалуй, самой большой радостью была неожиданная встреча с Помпеем Варом. Не знаю, читал ли Пушкин оду «К Помпею Вару» в лицейские годы, но наверняка знал её содержание хотя бы в пересказе: Н.Ф. Кошанский, преподававший в лицее русскую и латинскую словесность, был блестяще образованным человеком и превосходно знал, в частности, произведения Горация, среди которых эта ода занимает по известности второе место, уступая лишь заключительной оде третьей книги, начинающейся словами: “Exegi monumentum aere perennius”.

Воспоминание о битве при Филиппах и позорном бегстве (“Tecum Philippos et celerem fugam sensi relicta non bene parmula”) было,

видимо, для Горация душевной раной, мучившей его до конца жизни. Подобная рана была и у Пушкина. Известно много документов, из которых видно, что, узнав о смерти Александра I и отречении цесаревича Константина, он понял, что петербургские заговорщики, среди которых было много его друзей, с большой вероятностью воспользуются междуцарствием, чтобы поднять восстание, и твёрдо решил поехать инкогнито в Петербург, чтобы к ним присоединиться. План поездки он тщательно продумал, и отъезд был назначен на тринадцатое декабря. Но в день отъезда под влиянием каких-то пустяков, которые суеверный Пушкин воспринял как дурные предзнаменования, он то ли остался дома, то ли вернулся с полпути. А потом, узнав о поражении восстания и участи повстанцев, почувствовал себя предателем, и за годы, прошедшие от восстания до перевода оды Горация, это ощущение не притупилось; оно и заставило Пушкина взяться за этот перевод. От подлинника он отличается не только порицанием Брута за «отчаянность» и неодобрением ценностей, которые он отстаивал («призрак свободы»), но и более сильным самобичеванием (ничего похожего на «творя обеты и молитвы» и «Как я боялся, как бежал!» в подлиннике нет). Можно ёщё добавить, что relicta non bene parmula – очевидная аллюзия к знаменитому четверостишию Архилоха, в котором он рассказал, что бросил свой щит в кусты, чтобы не погибнуть, и добавил «новый куплю, не хуже [старого]». Но в России во времена Пушкина древнегреческим языком владели считанные единицы, а про Архилоха «обычный читатель» заведомо ничего не знал. И ещё одно различие: опущено место, из которого видно, что не только Горацию было страшно, но и всем вокруг: “…fracta virtus et minaces turpe solum tetigere mento” (в вольном переводе: разбитая доблесть и грозные [воины] безобразно землю бороздили лицом).

Но важнее здесь, конечно, различие между положением Горация после битвы при Филиппах и объявленной Августом амнистии и положением Пушкина после восстания декабристов. Гораций стал сторонником Августа и был им замечен, но от предложенной ему принцепсом должности отказался, потому что для него важнее всего было независимое положение: он хотел оставаться частным лицом. Потом Меценат подарил ему небольшое поместье, обеспечившее ему и материальную независимость. А для императора Николая декабристы были опаснейшими преступниками и понесли, как обязан был думать всякий верноподданный, заслуженное наказание: пятеро

повешены, многие приговорены к вечной каторге, в том числе Пущин и Кюхельбекер, ближайшие друзья Пушкина. Пушкин, признавшись, что присоединился бы к бунтовщикам, если бы был 14 декабря в Петербурге, был великодушно прощён. Но за это поэт заплатил полной потерей независимости, которой дорожил не меньше. чем Гораций: царь соизволил быть его цензором, так что без высочайшего разрешения Пушкин не имел права опубликовать ни строчки. Высказывать сомнение в преступности декабристов он тоже не смел; самое большее, что он мог себе позволить – просить простить их («Стансы» 1826 года, «Пир Петра Первого», о других просьбах не знаю), но все просьбы были безуспешны.

А теперь перейду к другой теме: загадке, спрятанной в словах Quem Venus arbitrum dicet bibendi?

В переводе Г,Ф. Церетели [Гораций 1998:82] эта фраза выглядит так: Кого Венера пира хозяином из нас назначит?, а в комментарии к этому месту [Гораций 1998:368] сказано: Венера – вместо «бросок Венеры», т. е. самое лучшее положение брошенных игральных костей. Но что такое «лучшее положение», непонятно; пояснения, которые я нашёл в словаре Дворецкого и комментариях к переводам (кроме русского перевода Г.Ф. Церетели, я заглянул в польский перевод Стефана Голембовского), невразумительны и противоречат друг другу. Загадка налицо, а по поводу разгадки позволю себе обратиться к статье [Гладкий 2008]. (Но сначала маленькое замечание: выражение «хозяин пира» явно неудачно, как и рекомендуемое в словаре Дворецкого слово «председатель». Думаю, что в этом контексте лучше всего подойдёт слово «распорядитель».)

Эта статья посвящена вопросу о том, причислял ли Аристотель именительный падеж к числу падежей или считал падежами только остальные три. (Понятие падежа, по-гречески *ptosis*, буквально «падение», от глагола *pipto* – падаю, как и термин *ptosis*, впрвые появилось в трудах Аристотеля, хотя не исключено, что он опирался на более ранние труды, до нас не дошедшие[1]. Латинский термин «casus» и русский «падеж» – кальки с греческого.)

Наиболее распространённая гипотеза состоит в том, что именительный падеж был для Аристотеля просто «именем», а остальные три – родительный, дательный и винительный – он

[1] И.М. Троцкий [Античные теории 1936:26] замечает, что «степень оригинальности грамматических построений Аристотеля неясна».

рассматривал их как «упавшие с имени», то есть отклонившиеся от нормы. Эта гипотеза показалась мне неубедительной; чтобы её проверить, я просмотрел все вхождения термина *ptosis* в известные сочинения Аристотеля и позднейших греческих комментаторов вместе с ближайшими контекстами и сравнил их с русскими переводами; часть переводов я взял из антологии [Античные теории 1936], а в ряде случаев переводил сам. В результате я пришёл к выводу, что гипотеза, согласно которой Аристотель не причислял номинатив к падежам, не подтверждается имеющимися источниками, Аргументов в пользу противоположного утверждения у меня не было, но я нашёл весьма веские, на мой взгляд, аргументы в статье [Sittig:1931], предположившего, что термин *ptosis* и термины *ptosis orthe* («прямой падеж») и *ptosis plagia* («косвенный падеж») заимствованы из терминологии игры в кости.

До изобретения шестигранных костей (по-гречески *kyboi*, откуда наше слово «куб») в этой игре использовались кости животных (отсюда, очевидно, и название «игральные кости»), а именно бабки – такие же бабки, в какие ещё недавно играли повсюду в России. По-гречески они назывались *astragaloi*, с ударением на втором слоге. При падении бабки есть четыре возможности: она может упасть либо на широкую грань, и такое падение наиболее вероятно, либо на одну из «боковых». Поэтому игра в *astragaloi* давало очень хороший образ для греческого склонения с его четырьмя падежами, один из которых интуитивно ощущался как «главный». Римляне широкую грань называли Venus.

Другая гипотеза, выдвинутая Зиттигом в той же статье, относится к сохраняющемуся до сих пор порядку падежей; она очень интересна, но в короткой заметке для её изложения места не хватит..

Литература

Гораций 1998 – Гораций. Собрание сочинений. СПб, 1993.

Гладкий 2008 – А.В. Гладкий. О понятии падежа у Аристотеля и о возрасте канонического порядка. падежей. //Вестник РГГУ, № 68/08, с. 58-71.

Античные теории 1936 – Античные теории языка и стиля (антология текстов). М., 1936. 2-е изд.: СПб, 1996.

Sittig 1931 – E. Sittig. Das Alter unserer Kasus und Ursprung ihrer

Bezeichnung als “Fälle”. Tübinger Beitraege zur Alterttumswissenschaft, XIII. Heft. Stuttgart, 1931.